ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ЛЕВ ДЕЙЧ

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТРОГРАД ▫ 1920

Никем из книгопродавцев указанная на книге цена **не может быть повышена.**
Государственное Издательство

КАТАЛОГ КНИГ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Просп. 25 октября, д. 28.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

	Р.	К.
Алексеев и Варлен. Две речи	—	70
Арну. Мертвецы коммуны	—	45
Его-же. Народная история Парижской Коммуны	10	—
Афиногенов (Степной), Н. Записки ополченца. Разошлось	1	25
Бакс. Парижская коммуна	1	75
Барбюс. В огне. Дневник полувзвода. Перев. Арденина. 1-е и 2-е издания разошлись. Печатается 3-е издание.	30	—
Басов-Верхоянцев. Венок. Сказки	5	—
Бебель, А. Интеллигенция и социализм	1	25
Его-же. Из моей жизни. Мемуары, т. I.	7	50
Его-же. „ „ „ „ т. II, ч. I.	20	—
Его-же. „ „ „ „ т. II, ч. II.	40	—
Его-же. „ „ „ „ т. III	50	—
Его-же. Христианство и социализм	—	50
Его-же. Положение женщины в настоящ. и будущ.	5	—
Бессалько. Алмазы востока. Сказки с иллюстрациями.	8	—
Блосс, В. История французской революции	32	—
Белами. Равенство	—	—
Богданов. Красная звезда	5	20
Его-же. Инженер Мэнни	7	—
Браке. Долой социал-демократов.	1	—
Брусянин. В борьбе за труд	3	—
Бухарин. Программа коммунистов	1	75
Его-же. Долой международных разбойников. Разошлось. Печ. 2-е изд.	—	40
Его-же. Классовая борьба и революция в России	1	80
Быстрянский. Империализм	—	35
Его-же. Армия империализма и армия революции. Война империалистическая и война революционная.	2	—
Его-же. Империалистическая Англия против социалистической России	—	40
Его-же. Рабоче-крестьянская революция в России в оценке буржуазной публицистики	2	—
Вандервельде. Социализм и искусство.	—	90
Ватин. Что такое коммуна?	—	20
Вейтлинг. Человечество, каково оно есть и каким должно быть.	—	85
Величкина, В. Борец за свободу Вильгельм Вейтлинг	1	—
Венок коммунаров. Сборн. памяти В. Володарского, с рисунками	4	—
Войнич, В. Овод. Роман. Пер. с английского З. Венгеровой	4	50
В-ик, Л. Уголок немецкой оккупации.	—	50
Володарский, В. Напутственная речь агитаторам. 3-е издание	—	50
Его-же. Речи	—	—
Волховский. Сказание о царе Симеоне.	1	25
Враги ли евреи рабочим и крестьянам. Разошлось. Печат. 2-е изд.	—	45
Гайк-Ад-янц. Крестьянский вопрос во Франции	—	55
Гауптман. Ткачи. Драма	3	—
Его-же. Пред восходом солнца. Драма.	10	—
Геккель, Э. Происхождение человека.	3	—
Герром, Г. От революции к революции.	1	20
Горичев. Таблица исчисления заработной платы от 150 до 1000 р. при 6 и 8 час. рабочем дне	5	—
Горлов, Н. Темные силы, война и погромы	—	40
Горький, Максим. Макар Чудра. С иллюстр.	1	—
Его-же. Челкаш	1	50
Его-же. Двадцать шесть и одна	1	50
Его-же. Дед Архип и Ленька	1	10
Его-же. Емельян Пиляй	1	20
Его-же. Дело с застежками	—	80
Его-же. На плотах	1	30
Его-же. Мальва	1	80
Его-же. Коновалов	2	60
Его-же. Тюрьма	6	—
Его-же. Проходимец	10	—
Его-же. Скуки ради	1	40
Его-же. Васька Красный	2	50
Его-же. Кирилка	1	30
Его-же. О евреях	1	10
Его-же. Как я учился	—	90
Его-же. Мое обращение	—	10
Гра, Ф. Марсельцы	7	—
Грейлих, Г. Буржуазная революция и освободительная борьба рабочего класса	1	40
Гусев. Теория пролетариата (научный социализм)	1	20
Декав. Фленго. Рассказ из времен коммуны 1871 г.	—	25
Декреты о суде	1	50
Демьян Бедный. Земля обетованная	1	20
Его-же. В огненном кольце	1	50
Его-же. Песни прошлого	3	—
Его-же. Сытый голодного не разумеет	4	50
Дитцген. Религия социал-демократии.	3	50
Евреи, классовая борьба и погромы.	—	40

Историко-революционная библиотека

Лев Дейч

Хождение в народ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ



Издание Петроградского Совета
Рабочих и Красноарм. Депутатов
1919

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД.

(Воспоминания).

I.

«Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой».

Я с товарищем решил отправиться к молоканам. Но, прежде чем расскажу о наших приключениях «в народе», передам в немногих словах, почему мы выбрали сектантов.

Как известно, в начале 70-х годов минувшего столетия,—а мой рассказ относится к тому отдаленному времени,—в разных концах России, одновременно, нередко без всякого предварительного сговора, юноши и молодые девушки с необыкновенным энтузиазмом бросались группами, парами и в одиночку «в народ». Для этого они рвали со всем, что недавно им было дорого, становясь подчас безжалостными к наиболее близким людям и к себе самим. Они отказывались от представлявшейся им выгодной или даже блестящей карьеры, от профессий, дипломов, имуществ и пр. «Трудящиеся массы—рассуждали они—относятся с вполне понятной подозрительностью к лицам, принадлежащим к привилегированным классам. Необходимо, поэтому, надеть на себя крестьянское платье, чтобы не выделяться своим внешним видом; нужно решительно во всем походить на рабочий люд—жить, как он, в той же обстановке, заниматься тем же тяжелым, но честным физическим трудом, вместе с народом переносить все его лишения, обиды и страдания». Время, когда народ из состояния нищеты, невежества и унижения перейдет, благодаря проповеди молодых энтузиастов, в царство свободы, довольства и просвещения, представлялось многим из них столь близким, что они готовы были ожидать его наступления чуть ли не через несколько лет.

Недолго продолжался этот своеобразный крестовый поход. Уже в средине лета 1874 г. в разных местах России начались многочисленные обыски и аресты, вызванные отчасти неопытностью и неосторожностью юных пропагандистов, главным же образом—доносами нескольких предателей и ренегатов. Случалось также, что и сами крестьяне приводили к начальству связанным юношу, явившегося к ним с проповедью нового учения... Но, как и средневековых крестоносцев, молодежь не остановили постигшие ее тяжкие потери, и уже осенью того года немногие уцелевшие от погромов, вместе с присоединившимися к ним новыми последователями, опять стали собираться в кружки, в которых обсуждался вопрос, каким способом продолжать деятельность в народе, чтобы не попадаться на первых же шагах? В разных концах России вопрос этот решался различно. Был тогда один кружок в Киеве, который придумал своеобразное решение.

Под влиянием самого видного своего члена—Ивана Федоровича Фесенко, кружок этот, к которому и я принадлежал, вздумал сосредоточить свою деятельность среди наиболее рационалистических сект. Об этом замечательном человеке, оставшемся совсем неизвестным у нас, сообщу здесь несколько слов.

Иван Федорович Фесенко родился в 1846 г. в каком-то селе Полтавской губернии, где отец его был дьяконом, а затем посвящен был в священники. Поступив в семинарию, он затем попал сперва в Нежинский лицей, а потом на юридический факультет Петербургского университета. Среди товарищей как в семинарии, так в лицее и университете Фесенко пользовался большим уважением и авторитетом. Одна уже внешность его действовала на многих импонирующим образом: выше среднего роста, с большой головой и чрезвычайно развитым лбом, Фесенко, благодаря рано появившейся на его лице обильной растительности, выглядел много старше своих лет и имел вид серьезного ученого. Этой внешности вполне соответствовало бросавшееся в глаза, при первой же встрече с ним, умственное его превосходство над другими,—его начитанность, красноречие, диалектические способности, проявлявшиеся в отстаиваемых им взглядах.

Будучи в университете, Фесенко отличался большой любознательностью и трудолюбием. Факультет предполагал, по окончании курса, отправить его за границу для подготовки к занятию кафедры политической экономии. Но чуть ли не во время выпускных экзаменов или незадолго до этого Фесенко и его ближайшие товарищи к немалому

удивлению людей, не посвященных в дело, вдруг подали прошения об увольнении их из университета. Причиной этого было охватившее лучшую часть молодежи стремление итти в народ, о чем мною сообщено выше. «Преступно запасаться дипломами и аттестатами, дающими возможность стать в привилегированное положение, а следовательно, сделаться эксплоататорами народа»,—говорили наиболее последовательные и честные сторонники нового направления.

Этот же круг идей охватил Фесенко и его товарищей, когда они уже приближались к окончанию курса. Но, решив посвятить себя делу освобождения народа, Фесенко все же не стал,—как то делала в ту эпоху решительно вся революционная молодежь,—ни «бакунистом», ни «лавристом». Как уроженец деревни, считавший себя знатоком крестьянской среды, Фесенко приходил чуть не в бешенство от известного утверждения Бакунина, будто «русский народ всегда готов к бунту». Не согласен был он и с бакунинской теорией «анархии». Нужно было обладать немалой умственной самостоятельностью, чтобы в ту пору всеобщего в революционных кругах увлечения этой теорией открыто выступать против нее. Отчасти в этом отношении ему помогло довольно основательное уже тогда знакомство его с «Капиталом» К. Маркса, но я помню из того же периода и других лиц—Г. В. Плеханова, Юзова-Каблица, также хорошо знакомых с этими произведениями и тем не менее являвшихся бакунистами.

Не сходился Фесенко во многом и с Лавровым. Так, он считал чуть не ребячеством громадное значение, которое Лавров придавал изображению привлекательными красками картины будущего строя, так как, кроме общих положений, мы ничего более не можем знать, в какие формы выльется жизнь в будущем

Фесенко также считал неосуществимой обширную предварительную подготовку, которую Лавров рекомендовал социалистам раньше их выступления на практическое поприще: «для приобретения таких энциклопедических знаний,—говорил он,—могла бы оказаться недостаточной и продолжительная жизнь Мафусаила. Нужно уметь выбрать наиболее необходимое и существенное для революционера, и теоретические познания должны итти параллельно с практической деятельностью». Утопичным находил Фесенко и требование Лаврова стремиться поднять умственный и нравственный уровень крестьян до наиболее высоко развитых революционеров из интеллигенции. Он вообще не был особенно лестного мнения о народе, мотивируя это тем, что долгое господство крепостного

права в России наложило на крестьян печать приниженности, забитости, рабства. Иного мнения был он о сектантах.

Преследуемые и гонимые,—доказывал Фесенко,—религиозные сектанты не могут примириться с существующими в России порядками. В них жив дух протеста, готовность к самопожертвованию, к борьбе и страданиям за идеи: это они в течение нескольких столетий доказали, приняв самое активное участие во всех происходивших народных движениях. Преследования в сильной степени развили среди них также чувство солидарности, предприимчивости и настойчивости. Поэтому, по мнению Фесенко, наши сектанты являлись не только более склонными к протесту, но вместе с тем и более развитыми и толковыми, чем православные крестьяне. Он полагал, что при уменьи подойти к сектантам можно было перевести присущий им чрезмерный интерес к религиозным вопросам на почву социализма. Повторяю, что Фесенко был тогда среди русских одним из очень немногих, к тому же чрезвычайно горячим, последователем Маркса. Так как сектантов в России считалось около двенадцати миллионов, то успех нашей пропаганды среди них, по мнению этого марксиста, в значительной степени приблизил бы нас к победе.

В Киеве Фесенко очутился зимой 1874 г. потому, что, вследствие оговора первого тогда ренегата Трудницкого, его при возвращении из-за границы подвергли обыску, но так как при нем ничего предосудительного не было найдено, то ему предложили выбрать город, где он желает поселиться. Он остановился на Киеве, в котором профессором политической экономии в университете был единственный тогда во всем цивилизованном мире на кафедре марксист—Н. Зибер.

Случайно познакомившись с Фесенко, вскоре по его приезде в наш город, я с ним решил создать кружок, целью которого должна была стать пропаганда социализма исключительно только среди приверженцев рационалистических сект. В кружок этот входили преимущественно молодые люди, не достигшие совершеннолетия,—гимназисты последних классов, экстерны и лица без определенных занятий. Привлек в него Фесенко также и четырех своих товарищей более зрелого возраста—Дмитрия Лизогуба, впоследствии приобревшего известность у нас, своего товарища по университету Соковича, Тимофея Квятковского, разыскиваемого полицией и потому жившего на «нелегальном» положении, и, наконец, бывшего семинариста Соколова. Всего в этот кружок входило человек около двадцати.

Фесенко на несколько лет был старше каждого из нас,—остальных членов кружка. К тому же он являлся наиболее образованным и красноречивым. Неудивительно, поэтому, что в нашем кружке Фесенко играл роль главаря. Все без малейших споров согласились с его взглядами, и с наступлением весны 1875 г. группами или парами отправились к сектантам.

II.

Товарища, с которым я пошел к молоканам, звали Иосифом Щепанским. Он мало напоминал библейского юношу, проданного братьями: высокий, тонкий, с впалой грудью и бледным лицом, Юзек, как звали его близкие, выглядел некрасивым, тщедушным парнем. Зато он отличался большими способностями и удивительной любознательностью. Происходя из мелкой разорившейся польской шляхты, Юзек еще на гимназической скамье вынужден был заниматься репетиторством, чтобы своими грошевыми заработками поддержать свою мать-вдову и малолетнюю сестренку. Однако, когда революционное настроение, о котором я выше упомянул, захватило передовую молодежь, Иосиф так же все оставил—гимназию, репетиторство, любимых людей, лишив их своей поддержки, и, как другие, решил отправиться в народ. Очень замкнутый в себе, сосредоточенный и молчаливый, Иосиф оживлялся только тогда, когда речь заходила о каком-нибудь теоретическом вопросе, и лица, не знавшие его раньше, убеждались, нередко к немалому своему удивлению, что этот невзрачный на вид юноша обладает довольно большой для его лет начитанностью. Мы выбрали друг друга для совместной отправки к молоканам, потому что были приятелями со школьной скамьи и одновременно стали революционерами.

Решительно не могу теперь об'яснить, почему наш выбор пал на эту именно секту: может-быть, благодаря литературным материалам, находившимся в нашем распоряжении, она представлялась нам особенно интересной, а может-быть и по каким-либо другим причинам.

Чтобы не подвергнуться риску встретить по пути на вокзал или в поезде кого-нибудь из многочисленных у каждого из нас в Киеве знакомых, мы со Щепанским решили совершить процесс «опрощения» где-нибудь по дороге. Как оказалось потом, мы это хорошо с ним надумали.

Родным я сказал, что отправляюсь на урок в деревню. Только одна моя сестра, Софья, была посвящена в мои планы и намерения. Но на первых же шагах вышла небольшая неловкость. Я сказал родным, что

еду на север, куда мне нужно было отправиться по железной дороге. Между тем мы со Щепанским решили спуститься до Кременчуга, следовательно, на юг по Днепру. Лишь только я вошел на палубу парохода, как увидел одну свою родственницу, которой еще чуть не накануне я сказал о предстоявшей мне поездке совсем в противоположном направлении. Вышла неловкость,—пришлось придумывать об'яснение этой внезапной перемены, чему она, как оказалось, не поверила и написала моим родным. Они, таким образом, догадались, что я не на урок на выезд, а, вероятно, в народ отправился, и были, конечно, потом все время за меня в большой тревоге.

Мне очень памятно это первое мое тогда плавание на пароходе. Берега широкого в это время года Днепра утопали в зелени. Местами пароход шел вблизи высокого правого берега, вдоль которого живописно раскинуты города, деревни, села и откуда по вечерам доносились трели заливавшегося соловья.

Все тогда было для меня ново, интересно и вызывало наилучшие ощущения, под влиянием чего скоро забыты были мною разные испытанные пред от'ездом огорчения и неприятности.

В Кременчуге у меня был знакомый молодой человек из «сочувствующих», живший у родных, людей довольно зажиточных и полу-интеллигентных. Они пригласили нас остаться у них погостить, на что мы охотно согласились. Из моих расспросов выяснилось, что в этом крупном промышленном городе, в котором имелось несколько средне-учебных заведений, в описываемое мною время, т. е. весною 1875 г., еще совершенно не было социалистов или они не подавали никаких признаков своего существования.

Проведши приятно,—перед тем, как погрузиться в жизнь, полную лишений,—несколько дней в удобной, культурной обстановке гостеприимной семьи, мы оттуда отправились в Харьков.

Знакомство с каждым новым населенным местом имело для меня в то время большое значение и вызывало во мне разнообразнейшие впечатления. До этого я побывал всего лишь в одной деревне и в трех городах, включая сюда уже и Кременчуг. Естественно, поэтому, что первый после Киева большой университетский город Харьков вызывал особенно живой интерес.

Туда мы имели от Фесенко рекомендательное письмо к бывшему студенту Ивану Ионовичу Глушкову, входившему в довольно известный в те времена кружок «сен-жебунистов», как мы его прозвали, в виду трех

братьев Жебуневых с женами, составлявших чуть ли не большинство его. В него же, между прочим, входил и прославившийся тогда ренегат Трудницкий, причинивший своим доносом неимоверную массу зла огромному числу людей. Глушков также был задет его оговором, но за отсутствием улик оставлен был под надзором с подпиской о невыезде из Харькова.

Жил Иван Понович со старушкой матерью, Анною Ивановной, в небольшой, но уютной квартирке, где они и нас приютили, на что мы согласились, несмотря на его поднадзорность и наше шествие в народ,—до того в те патриархальные времена все мы были беспечны, неосторожны.

Мать и сын оказались не только на редкость гостеприимными, но в своем роде оригинальнейшими и симпатичнейшими людьми.

Начну со старушки Анны Ивановны, относившейся ко всем решительно знакомым ее сына буквально как к родным, любимым детям. Столько доброты, внимания, заботливости о нашем брате-революционере со стороны человека, лично не участвовавшего в движении, я ни в ту пору, ни впоследствии не встречал у других. Она прекрасно знала, какими целями мы задавались и какая тяжелая участь угрожала большинству из нас. Кроме сына, у нее была еще дочь Зинаида, вышедшая замуж за известного тогда Николая Жебунева и, конечно, также подвергшаяся, благодаря злостному оговору Трудницкого, энергичным розыскам полиции. И, несмотря на эти уже перенесенные Анной Ивановной тревоги, волнения и опасения за родных детей, у нее ни в малейшей степени не было,—как это постоянно у других происходило,—страха подвергнуться преследованиям за радушный приют, предоставляемый ею каждому решительно революционеру.

По чрезвычайно симпатичному лицу Анны Ивановны великорусского типа, окаймленному густыми прядями белых волос, разлита была такая бесконечная доброта, что ее нельзя было не полюбить с первой же встречи. В то время было еще несколько матерей, пользовавшихся нашим расположением. Но из всех мне лично известных Анна Ивановна Глушкова должна занять первое место. Несмотря на протекшие со времени знакомства с нею 45 лет, память об этой общей нашей матери жива во мне, словно мы недавно только с нею расстались.

По своим душевным свойствам Иван Понович вполне походил на мать,—та же безграничная доброта, заботливость о ближнем, полная беспечность относительно возможной строгой ответственности. В нем также было столько простоты, радушия и искренности, что и его нельзя было не полюбить. Трогательно было видеть нежные отношения, существовав-

шие между матерью и сыном. Но чертами лица, манерами и отношением к своей внешности он нисколько не походил на мать.

Среднего роста, сутуловатый, с рыжеватыми волосами и жидкой бородкой, Иван Ионович, не обращавший никакого внимания на свой костюм, смахивал на захудалого мастерового, между тем как Анна Иванвна, благодаря правильным, даже красивым чертам своего лица и хотя скромному, но приличному костюму, имела очень представительный вид.

Узнав о цели нашего приезда, Иван Ионович целиком отдался делу наилучшего снаряжения нас в дорогу. Своей медленной, флегматичной походкой он ходил с нами по базарам и толкучкам, тщательно выбирая каждую вещь из платья, белья, а также провизию, торгуясь с продавцами. Он же сам подстриг потом наши волосы соответственно той «великорусской внешности», которую мы со Щепанским решили себе придать. Поверх ситцевых косовороток на нас были поддевки великорусского покроя. Осмотрев нас со всех сторон, он признал нас «вполне удовлетворительно» подходящими под крестьян. На прощанье Ионыч просил нас не миновать его на обратном пути.

Взвалив на плечи котомки с заключавшимся в них всем нашим имуществом, мы поздним вечером одни направились на вокзал.

Товаро-пассажирский поезд, на который мы попали, сплошь наполнен был крестьянами центральных губерний, отправлявшимися на юг на летние заработки. Теснота и духота в вагоне причиняли особенно много огорчений моему слабосильному товарищу.

На расспросы спутников, кто мы, откуда и куда отправляемся, мы конечно, отвечали согласно нашим фальшивым паспортам, заявляя, что также едем на юг, на заработки. То была наша первая, в сущности, непосредственная встреча с «народом», который мы собирались распропагандировать. Раньше мы знали его лишь по книгам да по случайным встречам на улицах и в трактирах. В поезде мы впервые столкнулись с ним, как равные. Мне, помню, доставляло немалое наслаждение сознание, что вот я, как заправский крестьянин, еду с этими преставителями трудящегося народа, которые принимают меня за своего брата и рассказывают про свои нужды и заботы. Как рьяный пропагандист, не могущий упустить подходящего случая, я также старался делиться со своими спутниками разными сведениями.

Трое суток длилось наше путешествие. Под вечер прибыли мы в город Мелитополь—конечный наш пункт, так как вблизи его, согласно нашим источникам, должны были находиться молоканские секты. Переноче-

вав на постоялом дворе, мы, с котомками на плечах, отправились утром на розыски деревни «Козий Яр». До нее оказалось всего версты две-три; но, к нашему крайнему удивлению и, вместе, огорчению, она сплошь населена была не молоканами, а православными малороссами. Когда же мы заявили, что, по полученным нами сведениям, здесь должны быть молокане, на нас смотрели с удивлением и отвечали: «диды не запомнят, шоб-колысь булы тут молокани». После долгих расспросов, мы, наконец, узнали, что приверженцы разыскиваемой нами секты имеются в соседнем—Симферопольском—уезде. Обманутые печатными источниками, мы боялись положиться на устные указания и решили пока остаться в названной деревне, тем более, что в ней расположено железнодорожное депо, где можно было найти заработок, а в нем, за ограниченным количеством оставшихся у нас после всяких расходов денег, мы вскоре должны были нуждаться.

Но для нас двоих, выросших и воспитавшихся в городе слабосильных юношей, до тех пор ничего, кроме книг и письменных принадлежностей, не державших в руках, нелегкой оказалась задача найти заработок. С большой тревогой и сильно бьющимися сердцами подошли мы с Иосифом к железнодорожному депо. «А вдруг начальство усомнится в подлинности наших паспортов или вообще почему-либо догадается, что мы не крестьяне, а переодетые интеллигенты?»—мелькало в голове. Меня, помню, не пугало тогда опасение, что рабочий люд заподозрит нас: на первых порах мне казалось, что именно лица привилегированных сословий, к которым и мы принадлежали, должны были легко разгадать, кто мы.

Я был парламентером. Обнажая голову, как это делают крестьяне перед всяким чином, я спрашивал, нет ли какой работы. Нас направили к начальнику депо. Это был немец, плохо говоривший по-русски и державший себя важным барином. На его вопрос, знаем ли мы какое-нибудь ремесло и служили ли уже на железной дороге, я отвечал, что мы прямо из деревни.

— Ступайте в чернорабочие; пятьдесят копеек за день,—заявил он тогда и, приняв наши паспорта, приказал какому-то служащему отвести нас в депо, где производился ремонт локомотивов и вагонов.

Нас поставили чистить локомотивы, а затем передвигать их по кругу в обратную сторону. Последняя работа была очень тяжела: мы, как говорится, спустили семь потов, пока вертели круг, и должны были часто останавливаться, чтобы перевести дух. А тут еще надсмотрщик, заметив, что мы отдыхаем, попрекал нас, что мы «лодырничаем».

Со второго же дня этой работы Иосиф стал жаловаться на ее непосильную для него тяжесть. Я советовал ему крепиться, вооружиться терпением, предполагая, что он постепенно втянется в работу. Но, возвращаясь домой, он буквально с ног валился от усталости. Не умывшись и не поужинав, он бросался на полати, молча лежал на спине, с устремленными в одну точку глазами, пока не засыпал так. Он совсем лишился аппетита и выглядел больным. Отправляясь утром на работу, он еле переставлял ноги, словно человек, только что вставший с постели после тяжкой болезни. Мучительно было смотреть на него. Хотя Юзек, по обыкновению, сосредоточенно молчал, но для меня, хорошо его знавшего, было несомненно, что в нем происходил серьезный внутренний процесс: он решал вопрос, казавшийся нам тогда главнейшим в жизни сознательного человека, годится ли он для деятельности в народе. А если неспособен к ней, то зачем и жить на свете?

Дня три или четыре спустя Иосиф заявил мне, наконец, решительно, что он не в силах больше выдержать и уезжает в Киев. Я не отговаривал его более: заявление его не было для меня неожиданным. Все эти дни я с тревогой следил за ним, молча наблюдая за переживаемой им внутренней борьбой. С одной стороны я даже был доволен, что он принял такое, а не худшее решение. Так закончилось его хождение в народ. После этой неудачной пробы Иосиф уже никогда не пытался повторить ее. Чтобы не возвращаться более к моему товарищу, скажу здесь, что впоследствии, в 1879 году, он осужден был на каторгу и долго затем жил в Сибири. Я давно потерял его из виду.

III.

Не берусь передать, как тяжело мне стало после от'езда Иосифа. К неимоверному физическому утомлению присоединилось полнейшее одиночество. В совершенно чужой мне обстановке, без сколько-нибудь близкого человека, с которым я мог бы перекинуться словом, в фальшивом положении, заставлявшем ежеминутно быть настороже, чтобы как-нибудь не выдать себя, а следовательно, не угодить чуть не прямо со школьной скамьи на каторгу,—от всего этого можно было прийти в отчаяние. Но последовать совету Иосифа, убеждавшего пред от'ездом меня также оставить не соответствовавшее моим физическим силам предприятие, я считал совершенно невозможным. «А наше решение посвятить себя народу, вынести ради него все лишения и страдания?»—спрашивал я.—«Кто же укажет ему выход из его тяжелого положения, если все мы на первых же

порах признаем себя неспособными? Нет, ты поезжай, а я останусь, что бы со мной ни случилось»

Признаюсь, в душе меня тревожило опасение, что немного позже я также не вынесу этого бремени и позорно бегу. Все же я решил тянуть, пока хватит сил. «А если надорвусь—туда тебе и дорога!»—говорил я себе с решимостью отчаяния.

Но молодой организм ко многому может приспособиться. На рассвете, когда нужно было вставать, чтобы итти на работу, мне казалось, что не смогу подняться—все члены ломило до того, что трудно было шевелиться. Но постепенно я стал убеждаться, что, несмотря на эти ощущения, работа с каждым днем шла успешнее, и в самой усталости заключалась своего рода привлекательность.

Еще будучи с Иосифом, я снял за три рубля в месяц угол в крестьянской избе, в которой помещались и сами хозяева-малороссы. За эти же деньги бабушка, мать хохла, должна была стряпать нам пищу из продуктов, которые мы у нее же покупали. Все это обходилось очень дешево, и получаемого нами жалованья вполне хватало на прокормление.

Наработавшись в течение двенадцати часов, возвращаешься, бывало, домой совсем разбитый. Но вот, умывшись и переменив белье, сядешь за стол, и незатейливые кушанья хохлушки кажутся необыкновенно вкусными. Недели полторы-две спустя после от'езда Иосифа я уже был тверд уверен, что не сбегу, ни из-за физической усталости, ни вследствие ощущения полного одиночества. Понемногу я начал также заниматься пропагандой среди своих сверстников, железнодорожных рабочих.

Наметив парня, казавшегося мне особенно смышленым и симпатичным, я приглашал его к себе. Хохлушка-хозяйка ставила на стол огромную миску со щами, с гречневой кашей, с простоквашей или с варениками. Уплетая за обе щеки, мой гость, обыкновенно с усталым видом, слушал мои речи о всяких неправдах и несправедливостях, господствующих повсюду. Он соглашался, что труд наш тяжел и скудно оплачивается, но тут же находил утешение для нас в возможности получить со временем повышение. При этом то тот, то другой из пропагандируемых мною юношей с очевидной завистью указывал на какого-нибудь нашего сослуживца, получившего повышение в ранге, произведенного, напр., из смазчиков в помощники кочегара и т. п

Мне представилась также возможность не совсем отстать от внешнего мира, т. е. получать известия о том, что делается на белом свете

Когда мы со Щепанским, еще будучи в Киеве, сообщили товарищам о нашем намерении отправиться в Мелитопольский уезд, то один из них вспомнил, что там у него имеется знакомый, по фамилии Энгель, и снабдил нас рекомендательной к нему запиской, но без адреса, который не был ему известен. Поступив на службу в Козьем Яру, мы в ближайший воскресный день, отправившись в город, стали спрашивать прохожих, не знают ли они «Энгеля»,—никакие другие его свойства нам не были известны. Но никто из встречавшихся нам не знал его. Это повторялось в течение нескольких моих затем посещений Мелитополя. Решивши, поэтому, что его невозможно найти, я из предосторожности уничтожил полученную к нему записку. Но, однажды, после от'езда Щепанского, отправившись зачем-то в город, я на-авось, без малейшей уже надежды найти Энгеля, спросил о нем у попавшегося мне на базаре еврея. Видя пред собою крестьянского парня, он, конечно, предварительно поинтересовался узнать, зачем тот мне нужен, откуда я и т. д. Когда же я, придумавши какой-то предлог и ответив на все его вопросы, вполне удовлетворил его любознательность, он в точности указал мне улицу и дом, где жил Энгель. Но тогда для меня возникло новое затруднение: я не мог представить полученной к нему записки. Это обстоятельство, однако, не остановило меня.

Найдя по указанному евреем адресу Энгеля дома, я об'яснил ему причину уничтожения имевшейся у меня к нему рекомендации, чему он вполне поверил и отнесся ко мне самым радушным образом. Это был довольно интеллигентный молодой студент, приехавший на каникулы на урок к, очевидно, симпатичному купцу-еврею средней руки.

Мы скоро сошлись с Энгелем: в течение нескольких месяцев, проведенных мною затем в той местности, я неоднократно в воскресенье и праздничные дни, бывая в Мелитополе, заходил к нему; он оказывал мне разные мелкие услуги, на его имя шла моя переписка со Щепанским, с сестрой Софией и др. Иногда он снабжал меня также газетой или книжкой журнала и пр.

Решительно ни в ком из многочисленных служащих в депо, а также из крестьян деревни, с которыми в воскресные и праздничные дни у меня завязывалась беседа, я не возбуждал ни малейшего сомнения относительно своего происхождения. Я настолько свыкся со своим фальшивым положением, что совершенно перестал тяготиться им. Отношения со всеми окружающими установились у меня хорошие, работа уже не утомляла, и я стал даже подумывать о том, чтобы, раньше отправки к молоканам, научиться

какому-нибудь мастерству, что дало бы мне возможность легче устроиться у них.

С этой целью, по окончании месяца службы, я смело направился к самому начальнику депо. Стоя перед ним, конечно, с обнаженной головой, на вытяжку, я стал просить его, чтобы он определил меня в слесарную мастерскую. Но такая, казалось бы, невинная просьба привела грубого немца в неистовство: он стал кричать на меня, словно я Бог весть с чем позволил себе обратиться к нему.

— Как ты смеешь указывать мне, где тебе работать!—воскликнул он. Когда же я робко заметил, что чернорабочим мне невыгодно оставаться, немец совсем рассвирепел и с площадной бранью швырнул мне паспорт.

Возвращаясь домой, я вспомнил следующий эпизод, который в сильной степени утешил меня.

В нашем кружке был один член, по фамилии Сокович, товарищ Фесенко по университету, который раньше всех остальных ходил в народ и до того «опростился», что совершенно походил на крестьянина. Он чрезвычайно гордился этим сходством и не только мирился, но прямо ликовал, когда за это сходство ему приходилось претерпевать оскорбления и даже побои. Так, помню, однажды, возвратившись из какой-то поездки по железной дороге, Сокович рассказывал нам, членам кружка Фесенко, как жандарм где-то на станции понадавал ему тумаков в шею, без всякого с его стороны повода,—просто потому, что он ему на глаза попался. Сообщая нам подробно об этой бесцеремонной с ним расправе, Сокович заливался веселым смехом.

— Чему же ты так рад?—спросил кто-то из нас с недоумением.

— Да помилуй: ведь это означает, что жандарм принял меня за настоящего крестьянина!—ответил он, и по лицу его разлилась радостная улыбка.

Хотя и не в такой мере, но я также был приятно польщен, что немец, выругав меня, выгнал вон. Невозможно было мне более оставаться в Козьем Яру, и, хотя свою подготовку я считал далеко еще не законченной, мне все же необходимо было отправится к молоканам.

IV.

С котомкой на плечах и с суковатой палкой в руке я на рассвете июньского южного утра направился по большой дороге в ближайшую молоканскую деревню Астраханку, отстоящую в двадцати пяти или в тридцати верстах от Козьего Яра.

Впервые приходилось мне предпринимать столь длинный путь пешком. К полудню жара стала невыносимой; между тем по дороге не попадалось ни деревца, ни кустика, в тени которых можно было бы отдохнуть. Кругом была тогда лишь необ'ятная степь, среди которой кое где расположены были деревни.

Когда солнце стало особенно жестоко припекать и я почувствовал невозможность двигаться дальше, то решил сделать привал в попавшейся на пути деревне. С этой целью я обратился к стоявшей у одной избы крестьянке. Поинтересовавшись предварительно узнать, откуда и куда я направляюсь, женщина указала мне какую-то клетушку. Поев там из приготовленных мне на дорогу хозяйкой-хохлушкой припасов и растянувшись на свеже-скошенном сене, я чувствовал себя в блаженном состоянии. Спешить мне не было никакой надобности, так как до Астраханки оставалось уже немного верст, а прийти туда мне выгоднее было перед вечером.

Долго отдыхал я в клетушке; затем, напившись воды и поблагодарив добрую хозяйку за приют, я вновь отправился в путь. Несмотря на продолжительный отдых и на то, что я медленно шел вперед, солнце все еще стояло высоко на небе, когда я приблизился к цели моего путешествия. Чтобы не заходить засветло в Астраханку, я решил скрыться на время. Рискуя подвергнуться большим неприятностям, я направился в расстилавшееся по обе стороны дороги поле с созревшими хлебами. Пришлось потоптать высокие колосья. Оставив за собою, таким образом, длинный след, я забрался в глубь поля, где, прилегши, с тревогой ждал солнечного захода.

Своим внешним видом Астраханка сразу разочаровала меня: вместо убогих лачуг, каковы почти сплошь в России крестьянские избы, я увидел длинный ряд каменных домов, нередко в два этажа, крытых черепицею, с прочными заборами, с изукрашенными воротами и ставнями. Не забитое, возбуждающее жалость своей нуждой население, очевидно, жило в этой благоустроенной деревне, которая могла поспорить со многими нашими уездными городами.

Отправляясь к молоканам, я не имел решительно никакого представления о том, как я среди них устроюсь и как примусь за дело. Одно лишь казалось мне очень важным—попасть на ночлег к какому-нибудь подходящему молоканину; «а там»,—думал я,—«все само собою устроится». Поэтому я и норовил прийти в Астраханку, когда стемнеет.

Однако, это скромное мое желание на деле оказалось совсем не столь легко осуществимым. Прошедши более половины обширного селения, растянувшегося на несколько верст в длину, я, в ответ на мою просьбу о ночлеге, неизменно получал лаконический приказ: «проходи дальше!»

«Однако, эти хваленые последователи евангелического учения, повидимому, далеко не отличаются радушием к прохожим!»—подумал я, высматривая дома попроще. Но и там меня встречали столь же негостеприимно. Между тем ночь все более надвигалась, и я начинал уже чувствовать раздражение против тех, кого пришел просвещать.

— Куда же мне деваться,—не на дороге же ночевать?—вырвалось у меня в ответ на заявление одной молоканки: «не пущаем прохожих».

— А ты поди на постоялый—вон там!—И она указала направление.

Поблагодарив добрую женщину за прекрасный совет, я, однако, не пожелал им воспользоваться, так как на постоялом дворе я легко мог наткнуться на кого-либо из сельских властей, что вовсе не входило в мои планы. Я склонялся уже к мысли отправиться за село и переночевать где-нибудь в поле, когда вновь заметил дом попроще.

Ворота его были открыты настежь, на дворе стояли два воза с сеном—хозяева, очевидно, недавно вернулись с полевых работ. В последний раз решил я попытать счастья. Вошедши в дом, я увидел небольшую семью, сидевшую за ужином. В ответ на мою просьбу о ночлеге, вместо лаконического отказа, молоканин пустился в обычные расспросы: кто я, откуда и куда? Повидимому, удовлетворенный моими ответами, хозяин, встав из-за стола, сам повел меня в конюшню, где указал мне широкую скамью, стоявшую у входа, и предложил расположиться на ней. Когда, сбросив с плеч котомку, я собирался воспользоваться его разрешением, он позвал меня обратно в дом поужинать. Отправляясь к молоканам, я, как и другие мои товарищи, направившиеся к сектантам, решил разыгрывать роль истинно-православного, строго соблюдающего все обряды, чтобы, таким образом, давать сектантам поводы к спорам относительно религиозных вопросов. Поэтому, поблагодарив молоканина за его приглашение, я как бы вскользь заметил, что они, конечно, сегодня едят постное, так как то было в пятницу.

Хозяин с улыбкой сообщил мне, что они—молокане—постов не соблюдают.

Я, конечно, сделал крайне изумленный вид, прикидываясь решительно ничего не знающим об этих людях. Молоканин, видимо обрадовав-

шись случаю просветить совершенно невежественного парня, пустился в изложение сущности своей религии и ее отличия от православной. Теперь из довольно длинного его об'яснения помню, что лишь они, молокане, являются единственными и истинными христианами, так как только они живут согласно Евангелия и Библии. Все же остальные, тоже именующие себя христианами,—не более как самозванцы, еретики. Сославшись на известное изречение, молоканин стал мне доказывать, что можно всегда есть любую пищу, так как грешно не входящее в уста, а лишь исходящее из них.

Для меня этот молоканин являлся настоящим кладом: именно такой мне и нужен был. От него, предполагал я, мне удастся утром узнать, как мне устроиться в их среде. На этот счет у меня, как я уже упомянул, не было никакого плана: я полагался целиком на благоприятное стечение обстоятельств. Я, конечно, не соглашался с доводами молоканина относительно преимуществ его религии перед православием и выступил на защиту последней: у нас завязался небезынтересный диспут. Таким образом, стоя в конюшне рядом с лошадьми, громко жевавшими сено и время от времени поворачивавшими в нашу сторону головы, кивая ими как бы затем, чтобы одобрить доводы того или другого из нас, я в первый же вечер своего прихода к молоканам приступил к сближению с членом той именно секты, которую давно избрал для проповеди новых идей.

Молоканин до того увлекся этим диспутом со мной, что совершенно забыл про недоконченный ужин и усталость, наступившую после долгого рабочего дня. Когда же кто-то из семьи прибежал звать его домой, он попрощался со мною, заметив с добродушной улыбкой: «ишь, паря, как с тобою замешкался,—видно, и ты любишь божественное». Мне чрезвычайно приятно было слышать это, и я заснул после его ухода крепким сном.

V.

Утром, чуть свет, ко мне уже заявился мой хозяин, которого, как оказалось, звали Иваном Фирсовым Мамонтовым.

— Из-за тебя, парень, я вчера сена не сбросил, так вот помоги мне теперь,—сказал он, поздоровавшись.

Отродясь я не только не занимался этим делом, но и вил-то не держал в руках. Однако, нельзя было отказываться. Взобравшись кое-как на воз и глядя на то, как манипулирует молоканин, я старался подражать ему. Но у меня ничего не выходило из этого. Несмотря на весь мой пыл, дело не

спорилось: то я чересчур много захватывал сена, так что не в состоянии был подать охапку на сеновал, то, наоборот, до смешного мало забирал.

Видя мою возню, молоканин добродушно рассмеялся.

— Какой же ты крестьянин, коли сена сложить не можешь?— спросил он, ухмыляясь.

Я об'яснил ему, что с молодых лет служил приказчиком в лавке.

— Пошто же не остался там?—удивился он.

— Да вот все из-за божественного!—сказал я и в ответ на его недоумение, оставив вилы, рассказал ему, как я, будто бы рано осиротев, был определен в ближайшем городе в лавку мальчиком. Там я научился читать и пристрастился к божественному. Затем я стал читать и мирские книги. Таким-то путем я понял, что торговля—занятие нечестное, потому что «не обманешь—не продашь». Мне же захотелось жить по правде; потому и пошел я бродить да искать правильной жизни. Побывал я уже в разных местах, но везде видел все то же: сильный слабого душит, грабит, всякий норовит обмануть, обидеть бедного.

Оставив работу, молоканин, повидимому, слушал с большим вниманием. В душе я готов был уже торжествовать победу. «Вот я веду настоящую проповедь и не парням, а взрослому, пожилому молоканину. Он, очевидно, проникается моими словами. Так быстро осуществилась моя мечта: уже на второй день я имею успех!»

Каково же было разочарование, когда, по окончании рассказа, я услышал от молоканина:

— Ну и чудак же ты! Был бы со временем сам купцом, а теперь что?

Уже не с прежним пылом я ответил, что предпочитаю тяжелым, но честным трудом зарабатывать свой хлеб, чем обманом. Когда мы затем вновь принялись за работу, молоканин продолжал ухмыляться, приговаривая:

— Нет, парень, видно вилы—не аршин, а сено—не коленкор.

Его шутки привлекли из дома жену и детей. Узнав, в чем дело, и увидев мою неуклюжую возню, дети покатывались со смеху. Это еще более конфузило меня, и я делал еще более неловкие манипуляции с вилами.

«Оскандалился, осрамился»!—произносил я мысленно с отчаянием, стоя, по окончании работы, весь красный, сконфуженный и рукавом рубахи отирая обильно катившийся с лица пот.

Молоканин в это время о чем-то в стороне шопотом говорил с женой; затем, обратившись ко мне, он вдруг сказал:

— Вот что, парень: ты захотел простой работы,—так оставайся у меня в работниках!

— Вы смеетесь?—спросил я с огорчением, не веря своим ушам и не допуская мысли, чтобы наглядное доказательство полного моего незнакомства с крестьянскими работами могло вызвать у молоканина серьезное желание оставить меня у себя.—Какой я работник!

— Ничего, парень, научишься! А пока что, все же за бабу сойдешь. Положу я тебе тридцать копеек в день на моих харчах, вот и будешь на «бабьем жалованьи»!—закончил Иван Фирсов со смехом, видимо довольный своей остротой.

Я, конечно, охотно принял его предложение: о таком обороте я и не мечтал. Молоканин и жена его—толстая, недурной наружности, женщина средних лет—были, повидимому, люди добрые и простые.

За завтраком, состоявшим из чая с белым хлебом и разных молочных продуктов, хозяин поминутно говорил мне:

— Ешь еще: по еде виден работник,—который много ест, тот и в работе горазд!

После завтрака, показавшегося мне чрезвычайно вкусным, хозяин с сыном, парнем почти моих лет, и двумя дочерьми, двенадцати и десяти лет, стал собираться на покос и позвал меня с собою.

Когда мы приехали в степь, верст за пятнадцать от деревни, я, взяв одну из хозяйских кос, начал ею до того размахивать, что вновь вызвал общий смех и замечания: «Ай-да косарь!»

— Нет, Митрий,—обратился ко мне хозяин, которому я сказал имя, выставленное в моем паспорте.—Этак ты больше напортишь, чем накосишь, не то себе или другому ногу отрежешь: ты сперва присмотрись, как мы с Ваней косим, а пока подгребай за нами с девочками.

Неловко и неприятно было мне итти позади хозяина и его сына рядом с малолетними детьми, но нечего было делать, да и эту сравнительно легкую работу я исполнял медленнее и хуже, чем даже меньшая дочь хозяина, Луша.

— Смотри, тятька, смотри! Какие у работника полосы остались!—восклицала она с укоризненным смехом.

— А ты, чем смеяться, показала бы парню, как надо подгребать,—говорил молоканин, добродушно улыбаясь.

— Такого большого учить! Какой же он работник? Ни косить, ни грести, ничего делать не может! Он и за бабу не сойдет, харчей своих не заробит! Что в нем толку?—сыпала откровенно бойкая, разбитная девочка.

— Ну, ну! Молчи, егоза!—полу-серьезно, полу-шутя закричал на нее отец.

А я не знал, куда мне от стыда деваться, и давал себе слово уйти, куда глаза глядят, как только вернемся в деревню.

«Проклятая интеллигентская жизнь в городе! Ни к чему-то она не приучает,—делает человека ни на что неспособным, кроме чтения книжек»—думал я с невыразимой грустью. «Ну, где уж тут пользоваться влиянием, когда малолетняя девочка поднимает тебя на смех!»

— Митрий! А Митрий! Ты чего это отстал?—раздается с другого конца покоса.

Занятый невеселыми мыслями о своей интеллигентской неподготовленности к физическому труду, я, действительно, остался далеко позади. Вновь, поэтому, раздается смех, вновь слышу злые и крайне обидные замечания Луши.

— Нет, нельзя мне здесь оставаться! Уйду, сегодня же уйду. Но куда? Неужели, по примеру Іосифа, назад, ничего не сделав, когда, наконец, удалось попасть к молоканам?

Когда по возвращении вечером в деревню я заявил хозяину о своем намерении, он решительным тоном воскликнул:

— Пустое, живи! Чего оробел? Всяко начало трудно: со временем всему научишься!

Ему не пришлось долго уговаривать меня, так как мне и самому тяжело было бы отказаться от своей цели—распропагандировать молокан.

VI.

Потянулась тяжелая страдная пора. Работа начиналась задолго до восхода солнца, а кончалась с появлением звезд на небе. Уставал я чрезвычайно; тем не менее не упускал случая для пропаганды.

Сначала беседы наши касались преимущественно религиозных вопросов. При этом мои собеседники всегда сравнивали свое учение с православием и доказывали мне его превосходство над последним. К православию молокане, в общем, относились с снисходительной насмешкой, но в беседах со мною не проявляли ни малейшей нетерпимости. Религиозные вопросы, видимо, потеряли для них жгучий интерес. Такое их настроение являлось не особенно выгодным для меня. Отправляясь к ним, я предполагал встретить в них горячих сторонников их учения, людей, убежденных, что только в нем одном все ищущие правды и справедливости могут найти удовлетворение. При таких воззрениях, полагал я, легко

будет возбудить в них интерес и к тем более общим и важным вопросам, которые занимали меня и моих единомышленников. Поэтому я был не мало разочарован, когда, вместо страстного отношения к религиозным вопросам, нашел большое равнодушие к ним, вместо горячей проповеди—почти полный индифферентизм к тому, примкну ли я к молоканству или нет.

Эти сектанты, несомненно, обладали здравым житейским умом. Они были толковы, смышлены, все грамотны и неизмеримо более развиты, чем православные крестьяне. Но не мало было у них и отрицательных черт. Несмотря на грамотность они, кроме своих молитвенников и священного писания, никаких других книг не читали. Косности, нелюбви к каким-либо новшествам в них едва ли было меньше, чем у православных.

Однажды мой хозяин, увидев, как на соседнем участке богатого молоканина работник управлял косильной машиной, заметил с завистью:

— Эх, будь деньги—купил бы такую машину!

Не желая упускать повода к пропаганде, я стал развивать ему наши взгляды относительно общего пользования орудиями производства. Я полагал, что сообщаю молоканину совершенно новые для него воззрения.

Но он, по обыкновению, внимательно выслушав меня до конца, спокойно заметил:

— Все это нам не на пользу, а во вред!—И в подтверждение своих слов он сослался на находившуюся невдалеке от Астраханки деревню, где жила секта «общих», у которых, по словам Ивана Фирсова, орудия были общие.

Мне самому, к сожалению, не удалось побывать в их деревне и лично познакомиться с сторонниками этой секты. Но, насколько я могу теперь припомнить рассказы молокан, относившихся к «общим» крайне отрицательно, все работы члены этой секты производили сообща. По словам молокан, среди «общих» происходили только ссоры да споры о том, кто сколько наработал, кто ленится, прикидываясь больным. Поэтому у них вечные беспорядки, бедность и грязь.

— То же и у нас было б, кабы стали жить, как ты говоришь!—закончил Иван Фирсов свой рассказ.

Беседы на социалистические темы происходили у меня не только с хозяином, но и с некоторыми соседями, и все они оставались при твердом убеждении в негодности проповедуемых мною новшеств. Причина их консерватизма коренилась, конечно, в относительно благоприятном мате-

риальном их положении. Земельные наделы были тогда еще очень значительны: на семью, в среднем, приходилось чуть ли не по нескольку десятков десятин; скота у них также было вдоволь. Существовало, правда, неравенство: встречались крупные богачи—стотысячники—и люди, как Иван Фирсов, имевшие крайне ограниченные средства. Но о вопиющей бедности редко приходилось слышать, да и то, если верить моим собеседникам, причина нужды коренилась не во внешних условиях, а в самих лицах, впавших в нее.

— Теперь вот и у нас пошел разврат—говорили молокане.—Прежде у нас и в помине не было вино пить, а нынче кабак завелся, иной из него не выходит, оттого хозяйство у него прахом идет.

Само собой разумеется, что проведенная поблизости железная дорога и вместе с нею из года в год увеличивавшийся обмен, а также возраставшее население и многое другое в сильной степени влияли на заметно ускорявшийся процесс расслоения молоканской секты. Многие члены ее далеко ушли от первоначальных верований их предков и в жизненном обиходе мало чем отличались от православных. Так, один из местных богачей раз'езжал на тысячных рысаках, имел великолепный дом, охотничьих собак и т. д.

Когда по этому поводу я указывал своим собеседникам на евангельскую притчу о богаче, верблюде и игольном ушке, они мне отвечали:

— Бог захотел и дал ему. Смотри: вот дождь идет на той полосе, а этой совсем не задевает. Господь лучше нас с тобой знает, кому сколько дать надо.

Поэтому все мои старания об'яснить происхождение неравенства социальными причинами натыкались на крепко установившиеся предрассудки и на принятые на веру, без малейшей критики, понятия и правила.

Столь же равнодушными оставались мои собеседники, когда я пытался апеллировать к их чувству справедливости и сострадания. В этих случаях я также должен был убедиться, что они вполне довольны своим положением, а потому неспособны к отзывчивости. Они не только довольствовались, но гордились своим состоянием.

— Видишь, как хорошо у нас, не то что у вас в России!—говорил мне нередко то тот, то другой из молокан.—Всего-то у нас вдоволь,—дома, скот какой. А сослали-то нас сюда за веру нашу, словно в Сибирь: ничего кругом не было, ни деревца, ни кустика, ни воды. Все своими горбами сделали наши прадеды да деды. Как послушаешь стариков, и натерпелись же они! Сколько перемерло-то наших здесь, беда...

Неудивительно, поэтому, что, достигнув относительного благосостояния, молокане впали в консерватизм и не чувствовали никакой склонности к новшествам. Того ли я ждал, отправляясь к ним? Все, что я увидел, очутившись среди молокан, совершенно противоречило составившемуся у меня о них, по устаревшим источникам, представлению, и я с каждым днем все более в них разочаровывался. Но, как молодой пропагандист, веривший в силу своих убеждений, я приписывал равнодушие молокан не их свойствам и не условиям их жизни, а собственному своему неумению и незнанию, как следует взяться за дело.

VII.

В воскресные дни, вдоволь выспавшись и исполнив лежавшие на мне по хозяйству обязанности, я принимался за чтение одной из двух всего принесенных мною в котомке легальных книг: «Изучение социологии» Спенсера и «Статистика России» Ливрона. За этим занятием, случалось, меня заставал хозяин, и, хотя сам он никогда не заглядывал ни в какую мирскую книгу, все же он одобрительно относился к такому препровождению свободного времени. Благодаря отчасти этому же занятию, знакомые молокане считали меня авторитетом по «ученым» вопросам; но я сам испортил столь выгодную для меня репутацию.

Случилось это в степи, во время уборки хлебов. Однажды, после ужина, когда мы лежали все рядом, собираясь заснуть, хозяин вдруг спросил меня:

— Правда ли, Митрий, сказывают, будто звезды больше земли?

Ответив утвердительно, я, обрадовавшись поводу, пустился в об'яснение, почему звезды кажутся нам малыми, затем назвал некоторых спутников солнца...

— А скажи, Митрий, как пройти до деревни Васильевки?—прервал он мое перечисление.

Вопрос его показался мне тем более странным, что, повидимому, он слушал мои об'яснения с обычным интересом.

— Почему же я знаю?—ответил я с неудовольствием:—вы ведь знаете, что я там не бывал!

— То-то вот и оно-то!—воскликнул он с торжествующей ноткой в голосе.—А на небе ты разве бывал? Не можешь сказать, как по земле тридцать верст пройти, а толкуешь про то, как далеко до звезд, до солнца, до луны! Хоть книжки разные читаешь, а вижу, что и в тебе тоже глупости немало!—заключил хозяин с большой укоризной и, повернувшись на-бок, немедленно заснул.

Эта «астрономическая» беседа доставила мне среди молокан огромную популярность, по крайне невыгодного свойства, в чем я мог убедиться из следующего случая.

Чтобы посылать свои письма и получать приходившие для меня на имя Энгеля, я раза два-три за время моего пребывания у молокан отправлялся в Мелитополь; при этом случалось, что меня кто-нибудь подвозил. В одно воскресное утро, вскоре после описанной беседы, идя в город, я попросил проезжавших мимо двух незнакомых крестьян подвезти меня. Пустив меня на телегу, они стали расспрашивать, кто я и у кого служу.

— Так это ты Ивана Фирсова работник?—воскликнули они радостно.—Знаем, знаем! Много про тебя паслышаны: ты, сказывают, по небу шибче, чем по земле ходишь?

И проезжие покатывались со смеху.

Оказалось, что то были молокане, жившие в другом конце обширного селения Астраханки; тем не менее слух о моих «путешествиях по небу», как мой хозяин назвал мои астрономические об'яснения, уже успел дойти до них и, очевидно, вызвал с их стороны также отрицательное отношение.

Беседа о небесных светилах не повлекла за собою, однако, изменения в отношениях ко мне хозяев и некоторых знакомых молокан. Фирсов, после этого, кажется, случая, лишь еще сильнее укрепился в представлении, что я—странный человек.

«Более ста лет стоит Астраханка,—сказал он мне как-то,—а такого чудака, как ты, Митрий, в ней никогда не бывало.

Однажды, лежа с книгой за стогом сена, я невольно подслушал разговор, который невдалеке от меня вел мой хозяин с каким-то соседом. Хозяин расхваливал кого-то за трезвость, честность, аккуратность.

— И все-то у него, рубахи, штаны—новые; но и денег, видно, немного имеет. Каждый раз, как из города приходит, четверку чаю и фунт сахару хозяйке приносит, ребятам леденцов. Хорошую службу на железной дороге имел—пятнадцать рублей в месяц получал. Да бросил и пошел мужицкую работу справлять. Такой чудной по всему, какого я отродясь не видал.

Составив себе столь лестное обо мне мнение, хозяин готов был распинаться за мою репутацию. Это он и доказал в одном случае, едва не окончившемся для меня очень печально.

Когда, однажды, я вернулся перед вечером с лошадьми с какой-то работы, хозяин, за ужином, сообщил мне, что, в моем отсутствии, к нему зашел сосед Калинин, у которого незадолго перед тем увели лошадь, и выразил уверенность, что это—дело моих рук. На вопрос Ивана Фирсова,

каким образом я мог увести его лошадь, оставаясь все время в Астраханке, Калинин указал, что вот я хожу зачем-то в город: там, по его предположению, у меня имеются, должно-быть, пособники, которым я и указываю, у кого из астраханских молокан плохие запоры. При этом Калинин предсказывал, что я больше не вернусь, а уведу также лошадей хозяина, на которых поехал по делу. «А то чего этому парню и жить в нашем селении?»—передавал хозяин слова соседа.

— А вы что же ему сказали?—спросил я.

— «Не знаешь ты моего работника», сказал я ему:—«не то что чужой лошади не уведет он, а положи перед ним сколько хочешь золота,—и того не тронет. На него, как на родного сына, положусь».

Несмотря на столь лестное обо мне мнение, рассказ его чрезвычайно огорчил и встревожил меня; в результате моих стремлений распропагандировать молокан быть заподозренным в конокрадстве—что могло быть обиднее этого, особенно для юного социалиста?

К моральному огорчению присоединилось еще и другое немаловажное обстоятельство: несмотря на уверенность хозяина в моей честности, разговор с соседом все же возбудил в нем некоторую тревогу.

— Вот что, Митрий!—прибавил он спустя немного.—Калинин, поди, не мне одному, а по всей Астраханке трубит, что это ты его лошадь увел: как бы брехня его не дошла до волости! Скажи, есть у тебя паспорт?

В течение всего лета мой хозяин ни разу не поинтересовался узнать об этом. Паспорт мой был не только фальшивый, но к тому же и просроченный: товарищи обещали прислать новый, но почему-то не сделали этого. Не желая, однако, увеличивать тревогу бесхитростного и добродушного молоканина, я, отправившись в конюшню, достал лежавший в моей котомке паспорт, но не передал его хозяину, а сам прочел текст, так что выходило, будто он еще не просрочен.

— Нет, что ни толкуй, Митрий,—заметила вдруг присутствовавшая все время хозяйка,—а ты не из простых: не похож ты на мужика! Гляди, какие у тебя руки: беленькие, да маленькие, меньше, чем у девочки.

И, позвав свою младшую дочь, она стала сравнивать наши руки.

— Ты из господ!—заявила она, наконец, решительным тоном.

Муж ее, повидимому, тоже склонен был к этому предположению, что мне было крайне неприятно.

— Сами посудите, зачем стал бы я выдавать себя за крестьянина?—старался я разубедить их.

— Кто тебя знает: чужая душа—потемки!—заявила хозяйка.— Вот, сказывают, и господ в солдаты стали брать,—может, ты и покинул родню, чтобы не служить.

Предположение это она высказала ничуть не враждебным тоном. Наоборот, в словах ее слышалось скорее сочувствие: как сектантка, она вовсе не считала предосудительным уклонение от воинской повинности. С другой стороны, быть-может, ей лестно было думать, что в работниках у них состоит «барин», у которого что-то в прошлом имеется. и эта таинственность действовала, вероятно, на ее воображение.

Как бы то ни было, но в связи с обвинением, высказанным против меня соседом Калининым, предположения моих хозяев о моем происхождении вызвали во мне немалую тревогу: эти разнообразные относительно меня подозрения могут вскоре дойти до волостного правления, меня арестуют. затем дознаются, с какими целями я отправился к молоканам,—а по тем временам за это приговаривали к каторжным работам.

Вполне естественно, поэтому, что первою мыслью моей, когда я остался один, было—бежать из Астраханки. Но это значило бы подтвердить возникшие относительно меня неблаговидные подозрения и, следовательно, оставить о себе совсем нелестную память—сразу разрушить все то, что с такими усилиями создавалось в течение целого лета, казалось мне не только неблагоразумным, но и предосудительным.

«Нет! Я должен остаться здесь, что бы там ни случилос»,—решил я после долгих размышлений и взвесив всевозможные соображения «за» и «против». Одно соображение особенно сильно повлияло на мое решение: мне не хотелось оставить без опровержения пущенную Калининым против меня клевету.

Своей внешностью и выражением лица этот молоканин уже и раньше не внушал мне ни малейшего расположения. Рыжеволосый, с длинной, всклокоченной бородой, с лицом, покрытым веснушками и красными пятнами, Калинин производил неприятное впечатление. Если принять к тому же во внимание его громадный рост и большую физическую силу, то, полагаю, встрече с ним на большой дороге едва ли многие радовались бы.

Неудивительно, поэтому, что я испытывал довольно тревожное чувство, когда на следующий день увидел Калинина беседующим у ворот своего дома с моим хозяином и каким-то еще другим молоканином. С сильно бьющимся сердцем я направился к этой группе: у меня было опасение, что мое об'яснение с Калининым может скверно для меня окончиться.

— Вы что же это напраслину на меня взводите?—обратился я к нему, подошедши близко.

— А кто же другой увел у меня коня?—ответил он нахально.— Некому другому, кроме тебя: ты чудной какой-то, на мужика непохож. Не из жидов ли ты?—закончил он совершенно неожиданно.

До этой беседы мне очень редко случалось встречаться с ним, и я едва ли обменялся с ним раньше парой слов. Теперь, увидев меня вблизи, к тому же сильно взволнованным вследствие пущенной им клеветы, Калинин, как человек бывалый, вполне естественно узнал во мне еврея. Но, раз по паспорту я значился православным крестьянином, мне нельзя было подтвердить его предположение; с другой стороны, я не хотел также и отрицать его. Положение мое было довольно затруднительное. Я, вероятно, сильно изменился в лице, вследствие внезапности предложенного мне Калининым вопроса. В голове моей быстро промелькнуло, что высказанное им подозрение может легко быть доказано, а тогда станет очевидным, что паспорт у меня фальшивый. Нельзя было, поэтому, долго оставлять без ответа вопрос Калинина.

— Не о том речь, кто я такой, а о том, как можете вы зря обвинять человека? Вы—молоканин, считаете себя настоящим христианином, а вот взводите на меня напраслину.

Долго затем раз'яснял я ему всю возмутительность взводимого им на меня обвинения. Мой хозяин также поддержал меня. Под конец Калинин, видимо, почувствовал себя не совсем ловко, но все же, не желая прямо признать себя неправым, заявил:—Может, и не ты увел коня,—Господь знает. Ну, не сердись, парень!—Мы протянули друг другу руки.

VIII.

Но беда, как известно, не идет одна: не успел я успокоиться относительно этого инцидента, как меня встревожило другое обстоятельство.

Когда в сумерках одного из следующих дней я, сидя верхом на коне и ведя за поводья остальных трех хозяйских лошадей, направлялся в степь в ночное, меня окликнул хозяин, сидевший на скамье у ворот с несколькими соседями:

— Слезай-ка, Митрий: вот тебе земляк,—заявил он с веселой улыбкой, указав на одного из своих собеседников.

Последовав его предложению, я, конечно, не испытывал ни малейшей радости по поводу этой встречи. Мой «земляк» стал расспрашивать меня, какой я губернии, уезда, волости. Оказалось, что он был из деревни, сосед-

ней с тою, из которой я по паспорту значился, и знал наперечет всех местных крестьян. Услыхав, что моя фамилия Голепюк, он выразил большое удивление: о таковой он, конечно, не слыхал по той причине, что она существовала лишь в моем паспорте. Когда же я сказал, что родители мои давно умерли, он стал расспрашивать о моих родственниках, свояках и знакомых. Боясь попасться, назвав несуществовавшие в той деревне фамилии, я заявил, что на родине я не был с малолетства, а потому никого не помню и не знаю. Выходило не совсем гладко и правдоподобно.

— Как же так?—недоумевал мой «земляк».—Чудно!

Под предлогом, что темнеет и нужно торопиться в степь, я простился с ним и другими. Этот «черниговец», казалось мне, ясно видел, что я говорю неправду и, как человек «российский», наверно заподозрел меня. Из разговора с ним я узнал, что он недавно приехал в Астраханку, где собирался открыть торговлю. Таким образом мне и впредь придется с ним встречаться. Его подозрения могут поэтому подтвердиться, особенно если он вздумает в «нашей» общей с ним волости справиться, действительно ли был выдан оттуда паспорт на названную мною ему фамилию. Состояние мое было самое неприятное: на душе, как говорится, кошки скребли. От'ехав верст пятнадцать, я пустил лошадей со спутанными ногами по скошенному участку хозяина, а сам, подостлав свою поддевку, растянулся на земле. Кругом на большом пространстве не было ни одной живой души; только на горизонте представлялись в виде черных точек далеко забравшиеся лошади. Однообразная, неприветливая картина, расстилавшаяся перед глазами, вполне соответствовала моему невеселому душевному состоянию: я не знал, что мне предпринять, вновь останавливался на мысли о побеге из Астраханки, чтобы, таким образом, предупредить арест. Если раньше был еще смысл оставаться в виду клеветы, пущенной Калининым, то теперь, казалось мне, не было ни малейшего основания рисковать своей свободой.

Прошло много лет с тех пор, но я и до сих пор живо помню тяжелые ощущения, испытанные мною в ту ночь. К счастью, она была недолга. Лишь только стало светать, я пустился в поиски лошадей. Это оказалось далеко не легким делом: черные точки видны были на горизонте в разных направлениях, и, какие из них являлись лошадьми хозяина, я решительно не мог определить. Ваня, сын хозяина, с которым я раньше отправлялся в ночное, приложившись ухом к земле, безошибочно определял, куда забрели наши лошади. Попробовав применить этот способ, я решительно ничего не мог разобрать. Мне приходилось, поэтому, итти наугад и, по-

дошедши близко к намеченным точкам, я каждый раз убеждался, что то были чужие лошади. Только после бесчисленного количества безрезультатных экскурсий по огромному пространству, когда солнце уже стояло высоко над горизонтом, мне, почти выбившемуся из сил, удалось, наконец, собрать своих лошадей, да и то лишь при помощи явившихся в степь незнакомых мне молокан.

Возвращаясь поздно днем в деревню, я предполагал, что хозяин сперва попрекнет меня, зачем я замешкался, а потом сообщит, что меня приходили звать в волостное правление. В последнем случае я решил уйти без вещей и более уже не возвращаться. Но ни одно из этих предположений не оправдалось.

IX.

Сменившая уборку хлебов перевозка их на гумно нисколько не была легче первой. Наоборот, в виду того, что все спешили поскорее свезти все из степи в деревню, приходилось работать днем и ночью без всякого почти перерыва. Я, поэтому, дошел до того, что спал стоя во время работы. Когда хозяин снизу подавал мне вилами охапки, которые, подхватив, я должен был раскладывать на возу, ему часто приходилось по несколько раз окликать меня: я, таким образом, умудрялся заснуть между двумя подачами вил.

Всему, однако, приходит конец,—наступил он и для тяжелых работ. Затем осталась лишь уборка баштанов, являвшаяся скорее приятным развлечением, чем утомительным занятием: накладываешь, не спеша, арбузы на воз и ешь их до пресыщения. Уборкой баштанов заняты были исключительно я и Ваня.

Однажды, когда мы с ним ехали за арбузами, при чем я, по обыкновению, правил парой, а он лежал, развалившись в телеге «хозяином», между нами произошла такая сцена.

Погода стояла чудная. На небе—ни малейшего облачка. Кругом в степи было тихо. Мы долго ехали молча, наслаждаясь отдыхом и окружавшей нас картиной.

— Ты бы, Митрий, что-нибудь рассказал!—прервал молчание хозяйский сын.—Ты разные книги читал и виды видал.

Предложение это удивило и вместе обрадовало меня. Раньше Ваня никогда не обращался ко мне с подобными просьбами. Хороший работник, скромный, молчаливый, он казался вполне равнодушным ко всему, что было вне узкой сферы хозяйских забот; никогда не вмешивался он в мои

разговоры со старшими, быть-может, потому, что не считал себя еще взрослым. «Пожилые молокане косны и консервативны», подумал я,— «может-быть, их молодежь окажется более восприимчивой». Сделав такое предположение, я не заставил упрашивать себя и с радостью принялся за пропаганду.

Тогда особенно популярна была нелегальная книжка, известная под названием: «Сказка о четырех братьях», автором которой является прежний главарь «Народной Воли» и недавний редактор «Московских Ведомостей» Лев Тихомиров. Рабочие и крестьяне обыкновенно слушали с большим интересом чтение этой сказки, так как в ней самым популярным языком рассказывалось про господствующую повсюду в России несправедливость и указывался путь к ее устранению. У меня ее не было с собою, но я хорошо знал ее содержание, и принялся устно передавать его.

Я сидел в полуоборот к Ване, постепенно сам увлекаясь своей проповедью, когда вдруг, в один из наиболее трогательных моментов рассказа, почувствовал удар кулаком в бок, сопровождавшийся восклицанием Вани:

— Смотри, куда правишь!

Оказалось, что лошади свернули в сторону с дороги.

— И за это ты меня ударил, когда я тебе же рассказываю!—сказал я чуть не со слезами в голосе.

— Сказки сказывай, а за лошадьми смотри, не то, вишь, они телегу сломают!—спокойно ответил хозяйский парень.

Я почувствовал невыразимое огорчение. Не удар, совершенно мною не заслуженный, расстроил меня, но тяжело было сознание, что вот молодой парень, на которого я уже стал возлагать свои надежды, из-за пустяка разбил их. Для меня стало ясно, что ничтожные житейские интересы Ване дороже всех истин, которые я мог бы ему сообщить.

Сколько затем он ни упрашивал меня закончить «сказку», я упорно отказывался. Мы молча, убрав арбузы, вернулись, когда уже стемнело, домой. Окружавшая нас картина природы уже не казалась мне столь прекрасной. То была моя первая и вместе последняя попытка распропагандировать молоканскую молодежь.

X.

Не раз во время наших религиозных споров молокане советовали мне побывать в их молельне. Меня также интересовало их богослужение; но,

вследствие неимоверной усталости, я мог осуществить это желание лишь по окончании всех полевых работ. Наконец, в одно воскресное утро я отправился в их молельню. Все в ней поразило меня: простота обстановки, обычное, как у всех остальных молокан, платье их священников, а также участие всех присутствующих в пении молитв. Но особенно удивило меня, что, по окончании богослужения, из толпы вышел человек, по внешности и акценту походивший на еврея, и, заняв место священника, обратился к присутствовавшим с назидательной проповедью. Несмотря на не вполне правильную русскую речь этого проповедника, ни на чьих лицах я не заметил никакой улыбки. Наоборот, все, видимо, слушали его с таким вниманием, словно опасались пропустить какое-нибудь слово. По окончании этой проповеди, перед тем как расходиться, мужчины и женщины целовались—«как братья и сестры во Христе», по об'яснению моего хозяина.

— Ну, что, понравилась тебе наша служба?—спросил он меня. Когда я ответил утвердительно, он сказал:

— Особенно, годи, понравилось, что у нас парни с девками целуются? Переходи, Митрий, в нашу веру, тогда с любой красавицей целоваться будешь,—закончил он с веселым смехом.

XI.

Приближалась осень. Миссию свою среди молокан я считал оконченной. Подводя итог моей пропагандистской деятельности в течение лета, я приходил к очень грустному выводу: мне казалось, что если мои усилия остались без всяких результатов, то в этом виноват только я, вследствие моей неспособности к крестьянским работам и неуменья взяться за дело. Не имея тогда сведений о судьбе остальных членов нашего кружка, я думал, что они наверно достигли более положительных результатов. Такие размышления, конечно, повергали меня в невыразимую печаль. Но мало-по-малу самообвинение сменялось более или менее об'ективным анализом условий молоканской жизни, а затем нетрудно было прийти к выводу, что не во мне, главным образом, не в моих личных свойствах и недостатках лежала причина безрезультатности моего пребывания среди молокан.

Да и осуществима ли, вообще, поставленная нами себе задача, осуществим ли план деятельности среди сектантов?—задавал я себе вопрос и, несмотря на незначительный личный опыт, отвечал на него отрицательно.

Небольшой наблюдательности и склонности к анализу было достаточно, чтобы после некоторого знакомства с молоканами убедиться, что представление, составленное нами о них по устаревшим книжкам и журнальным статьям, нисколько не соответствовало действительности. Условия жизни последователей этой секты, как и личные их свойства, делали их отнюдь не более восприимчивыми к социалистической проповеди, чем православных крестьян. Освободившись от преследований правительства, молокане успокоились в сознании совершенства своей религии и на достигнутом ими довольно высоком благосостоянии.

Считая, в виду такого вывода, свое дальнейшее пребывание среди молокан бесполезным и небезопасным, я заявил хозяину о своем решении уехать домой. Он, а отчасти и жена его, уговаривали меня остаться, причем делали, как им вероятно казалось, очень заманчивые для меня предложения.

— Хочешь, оставайся у меня в работниках года на три-четыре,— говорил хозяин.—За это время станешь настоящим крестьянином, сможешь не хуже любого справлять все наши работы. Женим тебя на молоканке, уж выберем тебе девку здоровую да красивую. Ты и сам перейдешь в нашу веру: поди, видишь, что она лучше вашей. А может женишься на Луше? Пойдешь за Митрия?—обращался отец к девочке.

— Вот еще! Куда он годится!—воскликнула она, отворачиваясь в сторону, с недовольной миной.

— Подростешь, то ли скажешь! Ну, чем он не жених тебе?—дразнил ее отец.

— Не пойду, не пойду за него, долговязого!—решительным тоном, чуть не со слезами кричала девочка.

— Ладно, ладно! Не зарекайся!—говорил он, смеясь.

Или хозяин рисовал такие перспективы:

— Не то оставайся учителем; наберем тебе сорок или пятьдесят ребятишек, с платой по рублю с каждого за зиму, а харчи и квартира понедельно у родителей.

Стараясь, таким образом, удержать меня в Астраханке, хозяева, повидимому, вовсе не руководились личным расчетом: нельзя же было серьезно предполагать, что они прельщались мною, как хорошим работником, а тем более—как подходящим женихом для Луши, которой не было десяти лет. Вернее предположить, что эти простые, бесхитростные люди за лето привязались ко мне, как и я к ним. За несколько месяцев моей у них жизни, несмотря на многочисленные мои промахи в работе, ни он,

ни она не только не сказали мне резкого слова, но ни разу не повысили, говоря со мной, голоса. Единственным случаем недовольства мною хозяина явился приведенный астрономический диспут, из которого я вышел посрамленным.

XII.

В течение всего лета я не только ничего не взял у хозяина из положенного им мне «бабьего жалованья», но, видя подчас его нужду в небольших наличных деньгах, сам еще снабжал его небольшими суммами. Когда часть свезенного хлеба была обмолочена и провеяна на току, хозяин решил продать ее, чтобы расплатиться со мной и купить кое-что необходимое в хозяйстве и для членов семьи. Еще задолго до поездки с этой целью в город хозяева рассчитывали и прикидывали вслух, сколько они выручат за такое-то количество мешков зерна, и выходило, что они не в состоянии купить все настоятельно необходимое. Я решил сделать им на прощанье сюрприз.

Мы сговорились отправиться вместе в город, откуда, получив все следовавшее мне, я должен был уехать по железной дороге.

Наложив полный воз, запряженный парой, хлебом, мы втроем поехали в Мелитополь. Лишь только мы в'ехали в город, как тотчас же нас обступили местные торговцы, предлагая свои цены. Хозяин рядился с ними, а когда, наконец, сделка с одним из покупателей состоялась, я помог снести и ссыпать зерно в амбар. Получив затем деньги, хозяин отсчитал следуемую мне сумму. Но я взял из нее только те несколько рублей, которые сам дал ему наличными, а от заработка у него отказался.

— Да что ты, в своем ли уме?—воскликнули оба с крайним изумлением.—Все лето работал, а денег не хочешь брать!

Я заявил им, что у меня хватит на дорогу, и предложил, чтобы они сделали все нужные им закупки, а также подарки от меня детям, в особенности «моей невесте Луше».

Хозяева посмеялись по этому поводу и больше не заставили себя уговаривать. Поблагодарив меня и пожелав мне всякого счастья, хозяева сердечно распрощались со мною. Мы расстались и направились в разные стороны. Но когда я отошел на довольно далекое расстояние, то услыхал, что он зовет меня: «Митрий, а Митрий!» Я остановился...—«Сто лет

стоит Астраханка, а такого чудака в ней не бывало»,—счел он, очевидно, необходимым повторить мне на прощанье [1]).

XIII.

Мое прощанье с хозяевами произошло на каком-то лугу за городом. Расставшись с ними и прошедши несколько десятков сажен по направлению в город, я расположился на земле и, достав из мешка арбуз с хлебом, стал подкрепляться. Поев вдоволь, я прилег и предался размышлениям. Спешить мне некуда было, так как поезд на север шел не скоро, а лежать, не имея никаких забот, чувствуя себя совершенно свободным, было невыразимо приятно. Только когда солнце стало совершенно склоняться к западу, я, поднявшись, направился к Энгелю, чтобы попрощаться с ним.

Он чрезвычайно обрадовался моему приходу; когда же я сообщил ему о своем намерении уехать с ночным поездом, он уговорил меня остаться у него ночевать и отправиться утром. Я охотно на это согласился, так как уже один тот факт, что, несмотря на мое нелегальное состояние и на крестьянское обличье, он не побоялся оставлять меня у себя на ночлег, много говорил в его пользу, а также, конечно, и его принципалов, которым, понятно, сильно влетело бы за это при каком-нибудь неблагоприятном стечении обстоятельств.

Хорошо поужинав, мы потом далеко за полночь беседовали с Энгелем. Помню, он вслух выражал свое удивление по поводу моей выдержки,

---

[1]) Прошло сорок с чем-то лет с тех пор. За все это время я только однажды, в девятидесятых годах, будучи в Сибири на поселении, прочел в какой-то местной газете сообщение о молоканах из дер. Астраханки. Там говорилось, что вследствие сильно возросшего населения они решили часть его переселить в Сибирь. Процесс дифференциации, все более и более усиливавшийся, захватил также и наслаждавшихся при мне относительным довольством молокан. Но вот недавно, зимой 1917—18 г., тов. Сергеев, оказавшийся молоканином изъ дер. Астраханки, с которым я разговорился, сообщил мне, что за истекшие десятилетия произошли громадные перемены среди молокан Бердянского уезда. По его словам, их селений «узнать нельзя». Между прочимъ, к немалому моему удивлению, этот товарищ,—к слову, окончивший университет,—сообщил мне, что старожилы Астраханки до сих пор с большой похвалой рассказывают обо мне и моем у них пребывании, при чем к действительности, как водится, прибавляют кое-что и из воображения. Как оказывается, мои опасения, что моя проповедь осталась совсем безрезультатной, не оправдались. Тем лучше, конечно.

*

настойчивости и других, по его мнению, проявленных мною за время знакомства с ним черт характера. Говорили мы также, вообще, о нашей, социалистов, деятельности, о политике, о европейских событиях и пр. Но, хотя мы вели обычную между интеллигентными людьми беседу в культурной, студенческой обстановке, я все же, помню, чувствовал себя еще далеко от действительности,—словно я очутился в совсем чуждой мне среде, до того мои привычки и помыслы еще крепко связаны были с покинутыми мною молоканами.

Условившись с Энгелем о способе переписки, я, чуть стало светать, попрощался с ним и направился на железнодорожную станцию, где взял билет до Харькова.

Обратное путешествие я совершил скорее первого. Поместился я под скамейкой, где удобнее было растянуться во весь рост и, благодаря чему, я избегал не совсем удобных для меня расспросов попутчиков. К тому же я действительно чувствовал большую физическую усталость, почему в пути все время спал с небольшими лишь перерывами для еды.

В Харькове Глушковы—мать и сын—чрезвычайно мне обрадовались. Оба проявляли ко мне такую заботливость и внимание, словно я был выздоровевшим после тяжкой болезни. Я, конечно, поделился с ними своими впечатлениями по поводу моего пребывания в народе, что они находили очень интересным, а Иван Ионыч к тому же настаивал, чтобы, по возвращении в Киев, я непременно занес все пережитое за лето на бумагу и отправил бы во «Вперед». Я обещал ему сделать это, но, увы, действительно осуществил только тридцать четыре года спустя, в 1910 г., когда многое из пережитого поблекло или совсем было забыто мною.

В первый свой приезд в Харькове вместе со Щепанским мы с ним, в виду наших сборов «в народ», никого, кроме Глушковых, не видели там. Теперь же, переменив крестьянское свое обличье вновь на обычное, интеллигентское, я захотел познакомиться со всеми теми товарищами, с которыми был близок Иван Ионыч Глушков. Их оказалось немного всего человека три—четыре. Ничтожное число нашего брата—социалиста в то время в нескольких городах, посещенных мною по дороге «в народ», помню, вызывало во мне недоумение, а подчас и опасение о том, сможем ли мы и в будущем иметь большее число последователей. Эти мысли вызывали во мне большую тревогу, но я не делился ими ни с кем.

На этот раз я в Харькове пробыл дольше, чем в первый свой приезд, и еще теснее сошелся с Иваном Ионычем, а также и с его добрейшей

матушкой. Установив с ним «революционно-организационную» связь, как мы тогда выражались, т. е. условившись о шифре, химическом способе переписки, адресе и пароле, мы горячо распрощались, и я направился уже без других остановок в пути в Киев.

Родные и знакомые нашли меня сильно возмужавшим и физически поправившимся за истекшее лето. Жизнь «в народе», действительно, в высшей степени благотворно на меня подействовала. Мускулы мои до того окрепли, что я стал бороться с лицами, бывшими на вид значительно меня сильнее и, за редкими исключениями, я оставался победителем.

Живя в течение лета в народе, я решительно ничего не знал о том, что сталось со всеми остальными товарищами—сочленами кружка, так как мои корреспонденты ничего о них не сообщали, потому что сами не получали от них известий. По возвращении осенью в Киев я нашел там некоторых из многочисленной группы, отправившейся в низовья Волги искать «бегунов», а также и всех почти побывавших у штундистов. Оказалось, что после тщетных розысков сторонников от всего убегавшей секты в Царицыне, в Астрахани и в других местах эта группа товарищей должна была вернуться обратно ни с чем, даже не узрев ни единого подлинного «бегуна».

Счастливее были члены группы, избравшей ареной своей деятельности штундистов. Но и они о результатах своей деятельности почему-то избегали говорить, и только из отрывочных их сообщений можно было заключить, что их также постигла какая-то неудача.

О судьбе одного лишь Фесенко долгое время решительно ничего не было известно,—он словно в воду канул. Только год спустя я увидел его в Петербурге и услыхал о следующем трагикомическом происшествии, случившемся с ним.

В чудный майский день прибыл он в какое-то селение одной из южных губерний, где, согласно источникам, должны были находиться сторонники избранной им секты. В тот же вечер его повели на собрание, на котором он должен был пред всеми изложить свое учение. Как бывший семинарист, прекрасно знавший священные книги, Фесенко сыпал цитатами и свободно толковал тексты. Он нарисовал перед слушателями мрачную картину современного положения трудящегося населения и указал им на грядущее будущее. Увлекаясь сам своею речью, Фесенко увлек и всю аудиторию. Слушатели были поражены как его знаниями и вдохновенностью речи, так и внешностью, вполне напоми-

павшей пророка. Под конец Фесенко до такой степени экзальтировал этих впечатлительных сектантов, что многие из них прямо пришли в религиозный экстаз. И вот произошло нечто совершенно невероятное и, во всяком случае, вполне неожиданное для ярого последователя Карла Маркса, выступившего в роли религиозного проповедника: сектанты, окружив тесным кольцом Фесенко, подхватили его затем на руки и стали вертеться с ним по избе, радостно восклицая: «Он пришел! Он тут! Он с нами!»

В это же время на дворе разыгралось совсем иного рода происшествие.

Кроме этих сектантов, оказавшихся вовсе не молоканами, а «шелапутами» или, может-быть, как-нибудь иначе называющимися,—в этом селе было также и много православных крестьян. Между теми и другими, как это всегда происходит в таких случаях, существовала непрерывная и ожесточенная вражда. Заметив у окон и у входа скопление сектантов, которые, за отсутствием места, не могли попасть внутрь избы, православные заинтересовались, что там происходит. Сектанты, понятно, не хотели подпускать их близко к окнам и двери; последовал обмен ругательств, закончившийся, конечно, «взаимным мордобитием». На место происшествия не замедлили явиться власти, которые, узнав, что к раскольникам явился новый проповедник, вошли в избу как раз в то время, когда там происходило общее ликование и верчение.

Оказалось, что какой-то «вполне осведомленный» сектант предсказал скорое прибытие «пророка», и ему-то всеми чертами вполне соответствовал наш марксист!..

Само собою разумеется, что власти не постеснялись арестовать этого нового пророка. Затем пошло мыканье его по полицейским участкам и тюрьмам. На допросах Фесенко показывал, что он отправился к сектантам с чисто научной целью, для ознакомления с их вероучением и бытом, и не его вина, что они приняли его за пророка.

Хотя жандармы и прокуроры сомневались в правдивости его рассказа, но изобличить его не могли, так как сектанты, конечно, не выдали содержания его речи, обращенной к ним. Побившись, поэтому, с ним около года, его, за отсутствием прямых улик, пришлось выпустить.

Рассказывая мне весной 1876 г. об этом изумительном с ним приключении, Фесенко сам разражался громким смехом.

На этой проповеди в течение нескольких всего часов закончилась его попытка превратить всех наших сектантов в сознательных социалистов, к чему он и все мы, его последователи, так долго готовились.

Таким образом мое пребывание «в народе», представлявшееся мне столь жалким и неудачным, в конце концов, оказалось менее печальным, чем других. А единственным положительным результатом «хождения в народ» всего нашего кружка было то, что почти все его члены вернулись здравыми и невредимыми. Решительно никаких «основ» мы не подорвали, и все осталось в прежнем виде и состоянии. Между тем, будь мы тогда арестованы и раскрой жандармы «план» Фесенко поднять сектантов,—подобно тому, как это тогда и много десятилетий спустя происходило,—все мы очутились бы в тюрьмах, Петропавловке, на каторге и в Сибири. Но, не подвергшись в большинстве своем никаким преследованиям со стороны правительства, кружок наш сошел со сцены совершенно незаметно, не оставив в целом почти никаких следов.

Аналогичных кружков из совершенно зеленой молодежи в то время было не мало в разных городах. Возникая быстро, они также скоро и исчезали, при чем участники их возвращались «в первобытное свое состояние».

То же случилось и с нами: по возвращении из печального путешествия «в народ», мы ни разу даже не собрались вместе, хотя бы для того, чтобы дать друг другу отчет в своей деятельности и распуститься. Мы молча перестали признавать какие-либо между собою обязательные отношения и разбрелись, кто куда хотел. Впоследствии только четыре бывших члена нашего кружка привлекались по разным процессам и попали на каторгу, а Дмитрий Лизогуб, как известно, был повешен в Одессе осенью 1879 г. Фесенко, по выходе из тюрьмы, остался в Петербурге, где мы вскоре (весной 1876 г.) вновь свиделись. Он и там играл очень видную роль среди молодежи, а также и рабочих.

После неудачной своей попытки спропагандировать сектантов, он уже более не собирался в народ, а принялся за занятия с рабочими, что, конечно, больше соответствовало его взглядам и стремлениям. Об успешности этих его занятий мы имеем очень лестный отзыв столь компетентного судьи, как покойный Г. В. Плеханов.

«Существенную пользу рабочие, писал он, могли выносить только из лекций политической экономии И. Ф. Фесенко. Этот, к сожалению, слишком рано умерший человек очень недурно знал выбранный им предмет и умел изложить его общедоступно и увлекательно. Но лекции его продолжались всего несколько месяцев» [1]).

---

[1]) См. «Русский рабочий в револ. движении», изд. «Пролетарии», стр. 19.

Продолжать эти занятия ему помешала болезнь, в сильной степени развивавшаяся у него вследствие его пребывания в тюрьме. Вскоре по выходе из нее он встретился с учившейся на медицинских курсах сестрой моей Марией, с которой быстро сошелся. Когда врачи стали настаивать на необходимости отправить Фесенко на юг, сестра моя, бросив курсы, повезла его в Одессу, где ему, тяжко больному, все же пришлось работать: ему предоставили место смотрителя какого-то детского приюта.

Неизлечимый недуг—туберкулез—развивался все далее. Несмотря на сильные приступы его, заставлявшие его подолгу не вставать с постели, он продолжал заниматься с приходившими к нему молодыми людьми,—студентами и рабочими. Когда же весть об этой его деятельности дошла до жандармов, то решено было «из'ять его», отправив в Сибирь в административную ссылку. Явившиеся для выполнения этого распоряжения жандармы нашли его окончательно прикованным к смертному одру. Тем не менее они время от времени являлись, чтобы убедиться, нельзя ли его, хотя бы больного, отправить в Сибирь. Наконец, весной 1881 года, после убийства Александра II, пришло приказание отправить Фесенко, несмотря на степень его болезни.

Явившиеся с этим категорическим приказанием жандармы нашли его мертвым. Им пришлось унести его труп, что они и сделали, несмотря на мольбы его жены, от которой власти скрыли время и место его погребения, и на ней, решительно ни в чем неповинной, выместили свою злобу: ее с грудным ребенком отправили в Сибирь, но позволили затем ей задержаться в Казани для погребения также умершего младенца.

Фесенко скончался тридцати пяти лет от роду. На каторге и в Сибири мне потом приходилось встречать интеллигентов и рабочих, являвшихся его учениками и с благодарностью вспоминавших его с ними занятия.

Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Маркс, Петроград, Измайл. пр., № 29.

	Р.	К.
Жорес. Мир и пролетариат	—	45
Закон о лесах Российской Фед. Сов. Республики	—	30
Зиновьев, Г. Корни оборончества	1	10
Его-же. Наше положение и задачи создания красной армии	—	25
Его-же. Австрия и война	1	80
Его-же. Из истории пролетарского праздника 1 мая	—	30
Его-же. Г. В. Плеханов. Вместо речи на могиле	—	45
Его-же. Хлеб, мир и партии	—	70
Его-же. Рабочие партии и профессиональные союзы	2	25
Его-же. Речь о создании красной армии. 2-е изд.	—	25
Его-же. Социализм и война	1	10
Его-же. Н. Ленин, жизнь и деятельность	2	—
Его-же. Письмо к крестьянам	—	50
Его-же. Слово к красноармейцам	—	40
Его-же. Чехо-словаки, белогвардейцы и рабочий класс	—	35
Его-же. Что делать в деревне	—	70
Его-же. О мятеже левых эс-эров	—	60
Его-же. Франц Меринг	—	30
Его-же. Из истории нашей партии	1	10
Его-же. Война и кризис социализма	15	—
Его-же. Задачи рабочей и крестьянской молодежи	—	90
Его-же. Работница, крестьянка и Советская власть	—	70
Его-же. Что должен знать и помнить коммунист-красноармеец	—	70
Зиновьев, Г., и Ленин, Н. Против течения, 2-е изд	10	—
Зиновьев, Г., и Троцкий, Л. Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Речи, произнесенные на заседании Петр. Совета	2	—
Интернационал и мировая война	—	—
Ионов, Илья. Алое поле. Стихотворения, 2-е изд.	1	50
Калер, Э, В. Вейтлинг, его жизнь и учение	5	—
Кампанелла Томас. Государство солнца Утопия	4	30
Карпинский, В. А. Мир или война	—	15
Катая, С. А. Террор буржуазии в Финляндии	3	50
Каутский, К. Наука, жизнь и этика	—	30
Его-же. К. Маркс и его историческое значение	8	—
Его-же. Экономическое учение К. Маркса, 2-е изд.	3	50
Его-же. Этика	2	25
Его-же. На другой день после социал. революции	—	75
Его-же. Классовые интересы	—	40
Его-же. Карл Маркс. Биографический очерк	—	45
Его-же. Томас Мор и его Утопия	12	—
Его-же. Ирландия	1	40
Его-же. Возникновение брака и семьи	2	25
Керженцев. Как вести собрание	1	40
Кий. Что такое социализм?	1	10
Его-же. Республика Советов, 4-е исправл. и дополненное изд.	—	40
Его-же. От крестьянской общины к социалистической коммуне	—	35
Его-же. Сельская коммуна	—	40
Клюев Н. Медный кит	2	40
Князев, В. Красные звоны и песни	2	50
Его же. Красное Евангелие	1	20
Его-же. Песни красного звонаря	8	—
Коллонтай. Работница-мать	—	35
Коммунистический Интернационал к трудящимся всего мира. Да здравствует 1 мая	1	—
Конколь. Коммуна 71 г.	2	—

	Р.	К.
Конституция Советской Республики	—	40
Королькевич, Б. Е. Финансовые и экономические законы и мероприятия Германии против держав Согласия за время нынешней войны	—	35
Лазар, Бернар. Антисемитизм и революция	—	70
Лангман. Бартель Туразер	9	—
Лассаль, Ф. Принципы труда в современном обществе	—	60
Его-же. Дневник	6	75
Лафарг, П. Происхождение религиозных верований	—	60
Его-же. Благотворительность и право на труд	—	60
Его-же. Миф о непорочном зачатии	—	35
Его-же. Вера в Бога. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	75
Его-же. Труд и капитал	7	50
Его-же. Патриотизм буржуазии	1	10
Его-же. Право на леность	1	10
Его-же. Кампанелла	10	—
Ленин. Доклад и заключительная речь на 3-ем Всероссийском Съезде Советов	—	25
Ленин. Борьба за хлеб. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	40
Его-же. За 12 лет. Собрание статей	20	—
Его же. Пролетарская революция и ренегат Каутский	4	50
Его-же. Главные задачи наших дней	—	65
Его-же. Уроки революции. 2-е издание	—	40
Его-же. Империализм, как новейший этап капитализма. (Попул. очерк)	4	40
Его-же. Успехи и трудности Советской власти	2	20
Лесков, Н. С. Евреи в России	17	—
Его-же. Сказание о Федоре-Христианине и о друге его Абраме-Жидовине	6	—
Либкнехт, В. Два мира	1	60
Его-же. Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений	1	30
Его-же. 1848 год и коммуна. Разошлось. Печатается 2-е издание	2	—
Его-же. Воспоминания о К. Марксе	2	—
Его-же. К юбилею мартовской революции	3	80
Либкнехт, Карл. Мой процесс. (По документам). С предисловием Зиновьева и портретом К. Либкнехта	12	—
Лилина, З. Солдаты тыла. Женский труд до и после войны. Разошлось. Печатается 2-е издание	2	10
Ее-же. Организуйте женщин	—	50
Ее-же. Что дала революция народу	—	35
Литературный сборник, посвященный памяти Г. В. Плеханова	3	45
Логинов. На страже. Стихотворения. Сатиры	1	80
Лидеман, Г. Коммунальная политика социализма	1	40
Лукин, Н. Церковь и государство	—	50
Луначарский, А., и Зиновьев, Г. К. Маркс и социальная революция. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	65
Луначарский, А. Комедии. 2-е издание	5	20
Его-же. Карл Маркс. Ко дню 100-летия со дня рождения	—	50
Его-же. Королевский брадобрей (Власть). Пьеса	3	—
Его-же. Первый пророк и мученик революции Радищев	1	20
Лурье, М. (Ю. Ларин). Суд над К. Либкнехтом	—	45
Его-же. Крестьяне и рабочие в русской революции	2	—
Его-же. Состав пролетариата. 2-е издание	—	65
Майская, Татьяна. Полустанки	3	50

	Р.	К.
Маркс, К. Либералы у власти	2	—
Его-же. Наемный труд и капитал	1	40
Его-же. Заработная плата, цена и прибыль	—	85
Его-же. К еврейскому вопросу	3	75
Маркс, К., и Энгельс, Ф. О коммунизме	1	40
Их-же. Манифест коммунистической партии	2	80
Мархлевский. Что такое политическая экономия?	1	10
Меринг, Фр., и Лафарг, П. Фридрих Энгельс	1	40
Мещеряков, В. Деревенская беднота и путь к социализму	—	40
Мирбо. Жан и Мадлена. Драма	1	50
Моррис, В. Вести ниоткуда Утопия	8	50
Мор, Т. Утопия	7	20
Муйжель. Бабья жизнь	3	50
Его-же. Старый Камора	2	—
Наш рабочий праздник 1 мая	—	30
Немоевский, А. Люди революции	5	—
Новорусский, М. Грибы	10	—
Олар. Политическая история французской революции	24	—
Памяти К. Маркса. Сборник статей. 2-е издание	4	50
Памяти К. Либкнехта и Розы Люксембург. Сборник статей	5	50
Первый социалистический советский настольный календарь	20	—
Петрович. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!	—	50
Пименова. История Интернационала	3	50
Плеханов, Г. Речь о Белинском	1	80
Программа Российской коммунистической партии	1	50
Равич, С. Что такое республика Советов	—	75
Радек. Анархисты и советская власть	—	12
Раковский. Социалисты и война	1	—
Рионов, Ник. Как совершать записи рождений, брака, развода, внебрачных детей и установление отцовства у народных нотариусов	—	75
Ромэн, Роллан.		
Жан Кристоф. Заря т. I	4	—
" " Утро, т. II	7	50
" " Юность, т. III	—	—
" " Бунт, т. VII	—	—
" " Ярмарка на площади, т. V	7	50
" " Сердце Франции, т. VII	2	25
" " Неопалимая купина, т. IX	12	—
" " В стороне от схватки	5	20
Рубакин. Вода на земле, под землей и над землей. С многочисленными иллюстрациями	3	—
Его-же. Приключения в стране рабства. С многочисл. иллюстрац.	5	50
Его-же. Дедушка Время. Новогодняя сказка	3	—
Его-же. Что такое кометы	3	50
Его-же. Как и когда разные народы научились говорить каждый на своем языке	2	—
Его-же. Рассказы о делах в царстве животных	6	—
Его-же. Среди тайн и чудес	9	—
Рязанов, Д. Две правды. Марксизм и народничество. Разошлось. Печатается 2-е издание.	—	90
Его-же. Обуховское дело. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	70
Его-же. 19 февраля. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	75
Его-же. К. Маркс и русские люди 40-х годов	1	80
Его-же. Г. В. Плеханов и группа Освобождения труда	—	90
Его-же. Англо-русские отношения в оценке К. Маркса	3	75
Советская Россия и народы мира. С предисловием Максима Горького	5	—
Самойлова. Современная безработица и борьба с нею	1	10
Ее-же. Продовольственный вопрос и советская власть	—	90
Ее-же. Что дала рабочим и крестьянам Великая Октябрьская революция:		
1-е издание	—	50
2-е издание	1	20
Сборник декретов и постановлений, касающихся коммун северной области. За 2 тома в папке	100	—
Сборник инструкций, положений и правил по организации сельскохозяйственных коммун	—	20
Срединский, С. Основы газетного дела.	2	30
Стеклов, Ю. Черная сотня во Франции. Разошлось. Печатается 2-е изд.	1	20
Его-же. Революция 1848 г. во Франции.	2	—
Его-же. Прудон	—	80
Его-же. Поль Лафарг. 2-е издание	—	55
Его-же. Новейшее течение во французском антисемитизме	1	—
Его-же Интернационал, ч. I	4	80
Его-же Интернационал, ч. II	2	25
Степанов. Жан-Поль Марат	—	40
Его-же. Твердые цены на хлеб	—	10
Его-же. Кто богатеет и кто разоряется.	—	35
Струмилин. Богатство и труд (попул. научн. очерк)	2	10
Троцкий. Труд, дисциплина и порядок.	—	30
Его-же. Слово к рабочим и крестьянам.	—	45
Его-же. Советская власть и международный империализм	—	25
Тун, А. История revol движения в России	4	80
Тюрлан. Парижская коммуна.	2	—
Цена крови	—	40
Хвольсон, О. Метр, гектогр., литр, грамм — общедоступное описание новых мер и весов.	5	—
Цеткина, К. Борьба за свободу и мир в России	—	12
Ее-же. Женский вопрос, интелл. пролетар. и социал.	—	70
Ее-же. За большевиков	—	45
* * * Мировая война С предисловием Г. Зиновьева	1	10
Чикколини, С. В. Происхождение современной войны	—	25
Чуковский, К. Крокодил С рисунками художника Ре-ми	10	50
Его-же. Уот Уитмэн. Поэзия грядущей демократии	8	—
Шлиссельбург и его мученики. С иллюстрациями	5	—
Эйснер. В. Либкнехт, его жизнь и деятельность	1	30
Энгельс, Ф. Философия, полит. экономия и социализм (Анти-Дюринг).	11	60
Его-же. Из истории развития социализма	1	40
Его-же. Людвиг Фейербах	2	50
Его-же. Статьи 1871—75 гг.	5	50
Его-же. Жилищный вопрос	14	—
Яновский. Таблицы для перевода русских мер в международные метрические и обратно	3	50
Ясинский. Воскресшие сны. Стихи.	12	—

Цена 20 руб.